Михаил Афанасьевич Булгаков
Вьюга

Записки юного врача – 4

Аннотация

Записки юного врача – с этого цикла рассказов началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии.

Михаил Булгаков
Вьюга

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце.

Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же – врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии – после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут… пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль: как его спасти? И этого – спасти. И этого! Всех!

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-молнии.

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? – говорил я сам себе ночью. – Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня

пришел ответ: писали, что, конечно, конечно… Обязательно… но только не сейчас… никто пока не едет…

Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки…

Во вторник приехали не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра, в среду? Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил – стук.

– Доктор, – узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, – вы проснулись?

– Угу, – ответил я диким голосом спросонья.

– Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехали.

– Вы что, шутите?

– Честное слово. Вьюга, доктор, вьюга, – повторила она радостно в замочную скважину. – А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

– Да ну… – Я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная – три комнаты вверху, а кухня и три комнаты внизу), свистел из опер, курил, барабанил в окна… А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксинье, исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире, приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено неимоверных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ваннах, конечно, и разговора в N-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице – и те испорченные).

Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

– Эт-то я понимаю… – сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, – эт-то я понимаю! А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я высплюсь, то пусть завтра хоть полтораста человек приезжает. Какие новости, Аксинья?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

– Конторщик в Шалометьевом имении женится, – отвечала Аксинья.

– Да ну! Согласилась?

– Ей-богу! Влюбле-ен… – пела Аксинья, погромыхивая посудой.

– Невеста-то красивая?

– Первая красавица! Блондинка, тоненькая…

– Скажи, пожалуйста!

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться.

– Доктор-то купается… – выпевала Аксинья.

– Бур… бур… – бурчал бас.

– Записка вам, доктор, – пискнула Аксинья в скважину.

– Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из руки Аксиньи сыроватый конвертик.

– Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, – не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол… (зачеркнуто).

> Прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост… (зачеркнуто)… из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».

«Мне в жизни не везет», – тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

– Мужчина записку привез?

– Мужчина.

– Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

– Почему вы в каске? – спросил я, прикрывая свое недомытое тело простыней.

– Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда… – ответил римлянин.

– Это какой доктор пишет?

– В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье.

– Какая женщина?

– Невеста конторщикова.

Аксинья за дверью охнула.

– Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)

– Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатать ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно… За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел.

– Купаюсь я, – жалобно сказал я, – ее сюда-то чего же не привезли? – И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

– Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, – прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил, – никакой возможности. Помрет девушка.

– Как же мы поедем-то? Вьюга!

– Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим…

Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного…»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился…

– Пожарные лошади? – спросил я сквозь бараний воротник.

– Угу… гу… – пробурчал возница, не оборачиваясь.

– А доктор что ей делал?

– Да он… гу, гу… он, вишь ты, на венерические болезни выучился… угу… гу…

– Гу… гу… – загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпнула… Меня начало качать, качало, качало… пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо

в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар… затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел – пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

– Лошадей мне сейчас же обратно дайте, – сказал я.

– Слушаю, – ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашеный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками.

Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:

– Голубчик мой… доктор… скорее… умирает она. Я убийца. – Он глянул куда-то вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: – Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, наматывая на пальцы.

– Перестаньте, – сказал я и стиснул ему руку.

Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замучены и растерянны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

– Как я рад… коллега… вот… видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали…

На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой.

– Пульс… – шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц желтое масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

– Умерла, – сказал я на ухо врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

– Тише, тише, – сказал я на ухо этой женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь.

– Он меня замучил, – очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату.

Там я ему сказал:

– Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатили рукав его праздничной

жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог быстрее, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушённых воплей он не слышал.

– Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, – говорил мне врач шепотом в передней. – Останьтесь, переночуйте…

– Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

– Да они-то доставят, только смотрите…

– У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

– Ну, смотрите…

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо.

Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

– Дорогу-то вы знаете? – спросил я, кутая рот.

– Дорогу-то знаем, – очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было), – а остаться бы вам переночевать…

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

– Надо остаться, – прибавил и второй, держащий разъяренный факел, – в поле нехорошо-с.

– Двенадцать верст… – угрюмо забурчал я, – доедем. У меня тяжелые больные… – И полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

– Однако это здорово… – не то подумал, не то забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль – а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа… Да, да, да… Ага-га… именно так!» Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя какая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня вьюга, как листок. Ну, вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по вьюге. Я один, а больных-то тысячи… Вот воспаление легких схвачу и сам помру здесь… Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим.

– Приехали? – спросил я, мутно таращa глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны… и заговорил без всякой почтительности:

– Приехали… Людей-то нужно было послушать… Ведь что же это такое! И себя погубим и лошадей…

– Неужели дорогу потеряли? – У меня похолодела спина.

– Какая тут дорога, – отозвался возница расстроенным голосом, – нам теперь весь белый свет – дорога. Пропали ни за грош… Четыре часа едем, а куда… Ведь это что делается…

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Зачем? Это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет – и мгновенно огонь слизнет.

– Говорю, часа четыре, – похоронно молвил возница, – что теперь делать?

– Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него отвечать. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

– Сами стали?

– Сами. Замучились животные…

Я вдруг вспомнил кое-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

«Ему хорошо было в Ясной Поляне, – думал я, – его, небось, не возили к умирающим…»

Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

– Это – малодушие… – пробормотал я сквозь зубы.

И бурная энергия возникла во мне.

– Вот что, дядя, – заговорил я, чувствуя, что у меня стынут зубы, – унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом.

– Но-о, – застонал возница.

– Но! Но! – закричал я, захлопав вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался вперед.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока наконец я не почувствовал, что сани заскрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

– Мелко, дорога! – закричал я.

– Го… го… – отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос.

– Кажись, дорога, – радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный. – Лишь бы опять не сбиться… Авось…

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.

– Жилье, может, почувствовали? – спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало, и вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

– Видели, гражданин доктор?

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они

взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном.

Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» – думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой и пальцы на ногах перестали стыть.

– Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, – выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слышал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные кишки… В это время возница завыл:

– Ого… го… вон он… вон… Господи, выноси, выноси…

Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь, – мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца…» – помыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я – наверху этой лестницы, Аксинья в тулупе – внизу.

– Озолотите меня, – заговорил возница, – чтоб я в другой раз… – Он недоговорил, залпом выпил разведенный спирт и крякнул страшно, обернулся к Аксинье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: – Во величиной…

– Померла? Не отстояли? – спросила Аксинья у меня.

– Померла, – ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

– Озолотите меня, – задремывая, пробурчал я, – но больше я не по…

– Поедешь… ан, поедешь… – насмешливо засвистала вьюга. Она с громом проехалась по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

– Поедете… по-е-де-те… – стучали часы, но глуше, глуше…

И ничего. Тишина. Сон.